



**Д. Г. ЛОУРЕНС**

**О Розанове**

**«УЕДИНЕННОЕ» В. В. РОЗАНОВА**

На обложке этой книги нам сообщают мнение князя Мирского<sup>1</sup> о Розанове как об одном из гениальных русских людей нашего времени, как о величайшем проявлении русского духа, с которым предстоит познакомиться Западу.

Столь высокие оценки приводят нас в замешательство. И даже прочитав длинный «Критико-биографический очерк» Э. Голлербаха, занимающий 43 страницы, мы не избавляемся от своих сомнений, несмотря на то, что в нем приводятся глубокие, иногда просто потрясающие высказывания из «Уединенного» и «Опавших листьев». И все же такое впечатление, что перед нами снова болезненно погруженный в самосозерцание русский человек, распинающийся в своем благоговении перед Иисусом, что не мешает ему тут же восстать и плюнуть Ему в бороду или хотя бы в спину. С такими персонажами нас уже познакомил Достоевский, и они успели нам надоеть. Раздвоенные личности с религиозностью беспризорников, они копаются в своем грязном белье и в своих грязноватых душах: таких героев мы видели более чем достаточно. Их внутренние противоречия не так уж загадочны и совсем не поучительны. Пока они чувствуют свою силу, в них клокочет ненависть к цивилизации, к Европе, христианству, правительствам и ко всему прочему; когда неизбежно силы иссякают, они раскаиваются: стонут, унижаются, ищут самых немислимых унижений, считая, что так они приближаются к Христу; а в это же время левой рукой они делают грязные и подлые делишки, и все это называется мистической противоречивостью человеческой души. На самом деле это только самовозбуждение, и это утомляет. Сколько можно повторять, что «Легенда о Великом Инквизиторе» Достоевского — это «самое

глубокое объяснение человека и жизни из всех существующих». По-моему, чем больше человека занимает собственная персона, тем он менее интересен для других. Чем больше Достоевский возбуждается идеей трагизма человеческой души, тем быстрее я теряю к нему интерес. Три раза прочитав «Легенду», я никогда не могу вспомнить, о чем она. Это не хвастовство, а простое признание факта. Мне всякий раз кажется, что тут, как говорят немцы, много шума из ничего.

В Розанове мы узнаем, кажется, еще одну птицу из стаи Достоевского. «Уединенное» — написано в философском жанре, не чуждом русской литературе, книга из ста страниц состоит из фрагментов мыслей, которые автор записывал там, где они осели на него, на извозчике, в вагоне поезда, в ватерклозете, запись могла появиться на подошве домашней туфли во время купания. Кажется, что мысль, пришедшая в дороге, могла точно так же возникнуть в клозете или «за нумизматикой», так что не все ли равно? Если уж Розанову хотелось представить реальные обстоятельства, следовало их более детально разработать. Сами по себе подписи «на извозчике» или «за нумизматикой» ничего не говорят.

И вот перед нами множество фрагментов, собранных за 1910–1911 гг., некоторые из них интересны, другие — не очень. Многие из них можно было бы собрать под общим девизом: «С Христом — или без Христа!», если позволительно пародировать гамлетовское «быть или не быть» (это была бы пародия чисто русского свойства). Есть среди фрагментов штрихи к портрету самого автора. Например: «В вас *мужского* только... брюки...», — сказала Розанову одна юная особа. Наверное, это не совсем точно, так стоило ли приводить это наблюдение? Но что делать — самоанализ существенная черта этого произведения. Вот еще о себе, о своем учительстве: «Форма: а я бесформен. Порядок и система: а я бессистемен и даже беспорядочен. Долг: а мне всякий долг казался в тайне души комичным и со всяким “долгом” мне в тайне души хотелось устроить “каверзу”, “водевиль” (кроме трагического долга)» (Э. Голлербах, со слов З. Гиппиус, с. 13).

Вот где слышится Достоевский, вернее, его так называемый нигилист, у которого на поверхности совсем не то, что внутри. Такого рода противоречивость довольно скучна, и когда это природное свойство, и когда это поза. Под этими парадоксами кроется банальное желание «быть хорошим»: «Я хороший! Я очень хороший! Я самый лучший. Я преклоняюсь перед чистой!» и тому подобное.

Достоевский приучил нас к таким вещам, и нас уже на это не возьмешь. Бедный Вольтер, он тоже раскаивался, но только раз, когда силы совсем оставили его и он пребывал между жизнью и смертью. А вот русские постоянно находятся между жизнью и смертью, они всегда, неизменно на смертном одре.

Когда Розанов говорит о «милых физиономиях» и «милых душах» детей, или о том, как два года он был «в Пасхе», «в звоне колоколов», «воистину “облаченный в белую одежду”», — меня обдаёт холодом и я становлюсь непроницаемым. Для меня все это остывшая яичница.

Но есть в «Уединенном» и глубокие мысли: «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали»; «Попробуйте распять Солнце. И вы увидите — который Бог» — и многое другое. Озарения самосознания не столь интересны, в них есть оттенок актерства и даже кривляния. На меня это уже не действует.

К концу критико-биографического очерка Голлербаха мне уже претит выставленная напоказ неряшливость. Такое же чувство возникает при чтении последних страниц «Уединенного», хотя нередко Розанов бросает поразительные наблюдения, забывает гвоздь по самую шляпку.

За «Уединенным» в этом издании следует 20 страниц другого сочинения Розанова — «Апокалипсис нашего времени». Тон здесь резко меняется, и вы попадаете в совсем другую атмосферу. «Апокалипсис» несравненно глубже, чем «Уединенное», и было бы гораздо лучше, если бы именно его мы прочли полностью. Только здесь можно понять, что Розанов был действительно мыслитель, что он действительно «величайшее проявление русского духа, которое предстоит открыть Западу».

Розанов раскрывает в себе нечто подлинное, и ему вершить, когда он пишет: «чувства *преступности* (как у Достоевского) у меня не было». Да, в нем нет скрытой склонности к преступлению. Он может проявиться как цельная и глубокая личность, как провидец и как пророк. Таков он в «Апокалипсисе». Здесь он уже не поет с голоса Достоевского. Он сам по себе, и это его собственная русскость говорит в нем.

Книга — выпад против христианства. о чем заявляет сам автор, в ней нет ни лицемерия, ни покаяния. В ней есть страсть, притом страсть неожиданно сильная. Лавирование, самоанализ, разоблачения — все ушло, и звучит подлинная страсть. Розанов своими путями заново открывает исконное языческое мировосприятие, фаллизм; глазами язычника, с ужасом и изумлением он смотрит на дела христианские.

Впервые русский писатель дает нам полнокровную картину мира; ни Толстой, ни Достоевский и никто другой из них не дал

нам этого. Кажется, в Розанове проснулся язычник древней Руси, русский Рип ван Винкль<sup>2</sup>, — и потрясенно смотрит на мир. Жирная и плодородная почва язычества, фаллического язычества вскормила Розанова. Но перед его взором — измученная собственной сложностью цивилизация христианства — конечно, в его глазах это какой-то кошмар.

И вот перед нами первый русский, который сказал нечто совершенно новое, для меня это именно так. Его отношение к миру полно живой и полнокровной страсти. Он первый понял, что бессмертие — в полноте проявления жизни, а не избавлении от нее. Эту тайну открыла ему бабочка, рождающаяся из кокона мертвой гусеницы, а он открыл ее нам.

Когда Розанов бодрствует, это новый, переживший воскресение человек, язычник, восставший из гроба, и в этом величие Розанова как пророка. Может быть, он и прав, когда говорит, что он — первый русский на земле. Размышляя о Толстом, Леонтьеве, Достоевском, Розанов пишет: «Я говорю прямо то, о чем они не смели и догадываться. Говорю, потому, что я все-таки более их мыслитель» («О понимании»). Вот и все.

Но дело идет (и *шло* у Достоевского и К. Леонтьева) именно об антихристианстве, о победе самой *сути* его, этого ужасного ави'ализма: когда из него-то, из фалла — все и проистекает...»

В таком настроении Розанов не раздваивается, не противоречит самому себе. Он — воплощенная цельность. Его представления и страсти едины, между ними нет трагического разлада.

Но вот он возвращается к русским вопросам и снова раздваивается. Как только он задумывается о себе, о личном, он становится немного смешным, или жалким, иногда слишком навязчивым и почти всегда — противоречивым. О, как им нравится их двойственность, их внутренняя противоречивость, как они насквозь пропитаны Достоевским, эти русские! Двойственность, как и парадоксальность, им просто необходимы. «Иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы».

На это можно ответить, что Содом и культ Мадонны — две фазы движения маятника: от возжелания к аскетизму, от благочестия к порнографии. Если вы не жаждете благочестия, вам не понадобится и порнография, и наоборот. Где нет святых, там нет и грешников, там нет надобности в разделении на монахов и мирян. Попробуйте разделить душу человека на две части —

темную и светлую. Само по себе это разделение уже пагубно. Увлечение одной крайностью неизбежно сменится отливом в противоположном направлении. Поклонение Пречистой Деве неизбежно сменится разгулом страстей, после чего произойдет возвращение к Пречистой — и так до бесконечности. И не устроительство души тому виной. Источник порока — в трусливом, разлагающемся человеческом рассудке, который постоянно ищет уклонения от своего центра.

Розанов, когда он не пытается быть слишком русским, — единственный, кто это понял и решил хоть в какой-то мере вернуть человеку его былую цельность.

Поэтому, безусловно, книга Розанова чрезвычайно интересна и нужна. Хотя мы изрядно устали от русского мироощущения, все же предисловие Голлербаха и приведенные в конце книги письма дают важный человеческий материал для понимания Розанова. Может быть, это и не так уж существенно, что он был за человек. В нем, конечно, есть какое-то извращение, но не такое, как у Достоевского, так что когда он пишет, что он «рожден не ладно», то это, скорее всего, только перепевы из Достоевского.

У Розанова есть свой голос, голос нового человека, ушедшего от Достоевского — и это главное. Это очень много значит. Подождем полного перевода «Апокалипсиса нашего времени» и «Восточных мотивов». Розанов скажет свое слово и сейчас, и в будущем.

### «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» В. В. РОЗАНОВА

Розанов в наши дни начинает приобретать европейскую известность. Появился французский перевод<sup>1</sup>, обещан немецкий; молодые писатели Парижа и Берлина говорят о нем как об одном из пророков истины. При этом «Уединенное» пользуется несколько большим успехом, чем «Опавшие листья»: наверно, потому, что в нем была сенсация. «Опавшие листья» менее сенсационны: это печальная и умиротворенная, глубоко русская книга.

Книга была написана, видимо, около 1912 г., незадолго до смерти автора<sup>2</sup>. Для западного читателя Розанов — последний русский писатель. Русские новой эпохи совершенно иные.

Действительно, Розанов, писавший после Чехова, — последний русский писатель. У него подлинно русский голос, и сегодня это особенно очевидно. Арцыбашев, Горький, Мережков-

ский — его современники, но все они стоят несколько в стороне от традиции. И только Розанов стоит на самой магистрали.

Первым браком он был женат на бывшей любовнице Достоевского: родство с ним заметно и в литературных устремлениях Розанова. Ответы Достоевского слились у него в устойчивый, ровный свет, он приобрел самостоятельность и признание. Хотя в отношении к нему сохраняется настороженность. Дело в том, что раньше, до того, как он пережил переворот и стал правоверным, хотя и вечно подозреваемым в измене консерватором, он бессовестно и изощренно лгал. Может быть, думают, он и теперь лжет — кто знает? Но нет, «Уединенное» и «Опавшие листья» — не ложь или не в такой степени ложь, как многие гораздо более оцененные и признанные книги.

«Опавшие листья» представляют собой фрагменты размышлений, обрывки мыслей, записанных где придется и на чем придется. Насколько это существенно — где и на чем, не ясно, но автору почему-то необходимо постоянно напоминать читателю о своем реальном окружении: «ночью», «за нумизматикой», «на извозчике», «в ват...» — подобными подписями сопровождается каждый фрагмент. Наверное, он таким образом хотел избежать даже видимости какой-либо систематизации или абстрактного философствования. Как бы то ни было, это очень по-русски и сделано сознательно, с намерением удержать читателя — и самого автора — в атмосфере момента, напомнить о реальном времени и месте. Розанов пишет, что новое в «Уединенном» — *тон*, тон манускриптов. Этот тон совершенно новый за все века книгопечатания, потому что люди индивидуальны «в лице и “почерках”», и рукопись попадает к читателю непосредственно от писавшего. Он сам раскрывает секрет своего писания: «Тут, в конце концов, та тайна (граничащая с безумием), что я сам с собой говорю: настолько постоянно, и внимательно, и *страстно*, что вообще, кроме этого, ничего не слышу».

Описание точно: Розанов наверное искренен с самим собой. По большей части ему удается удерживаться от актерства перед самим собой. Конечно, самосознание ему присуще, он от этого не отказывается и даже пытается предельно обнажить его перед собой и перед Богом. «Боже, сохрани во мне это писательское целомудрие: не смотреться в зеркало». Для профессионального лжеца это честная и искренняя молитва. «Я невестюсь перед всем миром: вот откуда постоянное волнение». «Писателю необходимо подавить в себе писателя (“писательство”, литературщину)».

Он все время говорит о своей ненависти к литературе, которая отравила его жизнь, из-за которой, как он чувствовал, он не

живет, а только литературствует. «Как *самые счастливые* минуты в жизни, припоминаются те, когда я видел (слушал) людей счастливыми. Стаха и Алекс. Пет. П-ва<sup>3</sup>, рассказ “друга” о первой любви ее и замужестве (кульминационный пункт моей жизни). Из этого я заключаю, что был рожден созерцателем, а не действователем». Вот где его драма: он чувствовал, что только созерцает жизнь, вместо того, чтобы участвовать в ней. Он переживал это как унижение, и в более ранние годы он бунтовал. Он вел себя, как актер на сцене жизни. И это выходило даже слишком театрально: и его «ложь», и его «зло» были надуманны. Но в конце концов он становился и лжецом, и злодеем, потому что и притворство, и коварство независимо от того — поза это или потребность души — приносят дурные плоды. Эта жизненная позиция не давала ему удовлетворения. Он никогда не чувствовал себя настоящим злодеем. Он только бунтовал, как Ставрогин, как Иваны Карамазовы Достоевского. Вечно бунтовать, вечно *изображать* чувства, которых он не испытывал — главная задача русского писателя, даже если он Чехов. Слишком чувствительные, переполненные безбрежными чувствами, чересчур добрые или несчастные или чудовищно порочные и циничные — и все это для того, чтобы создать хоть какую-то видимость страстей, которых на самом деле нет. Это так по-русски и это так современно. Почти весь мир таков сегодня.

Розанов перестал бунтовать, стал спокойным и приличным, если не считать коротких истерических припадков, во время которых он безобразно обходился с «другом» или впадал в мелкие «грешки». Насколько человек, лишенный реальных страстей, может любить, он любил свою вторую жену, «друга». Он изо всех сил старался ее любить, и у него это в конце концов получилось. Однако в его любви всегда присутствует оттенок жалости, и она, бедная, наверно, очень страдала, как всякая жена чувствительного мужа, который вместо истинно мужских чувств и мужского сопереживания может предложить только «жалость», сострадание. Розанов сам пишет: «Европейская цивилизация погибнет от сострадательности», и дальше глубоко замечает, что это только «лже-сострадательность», с элементом «излома». Как это по-достоевски: именно лже-сострадательность окрашивает любовь Розанова к жене. Когда он говорит о ней, в его словах часто сквозит ирония. Но как бы он хотел, чтобы ее не было, как бы он хотел испытывать простые чувства. Он не мог. «Сегодня» — не было вовсе у Достоевского, — пишет он, — иными словами, как видно, он хотел сказать, — Достоевский был лишен непосредственных чувств, ему были доступны только «про-

екции» чувств, которые неизбежно разрушают свой объект — реальное «сегодня», самую суть того, что составляет «сегодня». На глазах у несчастного Розанова его жена умирала от паралича, она была его «сегодня», но его всегда отделяет от нее эта ирония. Он, конечно, страдал глубоко. Горе, вызванное болезнью жены, было неподдельным. И на этом опыте он сумел постичь реальность страдания, в котором и была его истинная любовь. Для него это было жизненно важно, потому что нет ничего труднее, чем испытывать подлинные чувства, особенно подлинное сопереживание, когда его источник, как в случае Розанова, давно пересох. Сознвая свою неспособность испытывать подлинные чувства, Розанов всеми силами стремился преодолеть себя и пробиться к реальным эмоциям. Насколько мог, он этого достиг. Стряхнув с себя порочность, заимствованную у Достоевского, он к концу жизни постиг подлинность и чистоту страдания. В начале «Опавших листьев» он еще сентиментален и лицемерен до отвращения.

Прекрасны были русские люди былых времен. В эпоху Петра Великого это были здоровые варвары. Внезапно весь запас западных идей, идеалов и изобретений обрушился на их восприимчивые, но не отягощенные образованием головы, в которых новая закваска произвела бурное действие. Из этого брожения возникла литература от Пушкина до Розанова. Но позднее инородная закваска начала свое разрушительное действие в самой основе русской души. Русские словно приняли слишком сильное лекарство, словно им впрыснули слишком большую дозу вакцины. Были задеты центры восприятия и ответного действия, контроль нарушен, энергия тратилась бесцельно, и нация на какое-то время пришла в полный упадок. Слишком внезапный бросок в цивилизацию, как правило, убивает. Сейчас от нее гибнут жители островов Южного моря, от нее же погибли и русские, более медленно, но более верно. Если идея или идеал слишком сложны для того, чтобы личность или нация могли воспринимать их своими чувствами, непосредственно, то влияние этих идей перестает оказывать культурное действие, более того, они становятся опасными, как сильное средство, нарушающее равновесие и взаимодействие в организме.

Розанову это было хорошо известно. К тому, что он пишет о революции и демократии, нечего прибавить. Как и к тому, что он сказал о чиновниках и чиновничестве. Я думаю, если бы в Россию наших дней попал Толстой, он был бы ошеломлен. Но Розанов нисколько бы не удивился. Он предвидел случившееся. Его понимание евреев отличает сверхъестественная пронизатель-

ность. Его «консерватизм», который сегодня определили бы как фашизм, был только безнадежной попыткой задержать или изменить ход вещей.

Но болезнь уже проникла и в его организм, пути назад не было. Поразительна его заметка о собственной «задумчивости»:

«Иногда чувствую что-то чудовищное в себе. И это чудовищное — моя задумчивость. Тогда в круг ее очерченности ничто не входит.

Я каменный.

А камень — чудовище.

Ибо нужно любить и пламенеть.

От нее мои несчастья в жизни (была служба), ошибка всего пути (был только “выходя из себя” внимателен к “другу” и ее болям) и “грехи”.

В задумчивости я ничего не мог делать.

И с другой стороны, все мог делать (“грех”).

Потом грустил: но уже было поздно. Она съела меня и все вокруг меня».

Вот ключ к его жизни: «задумчивость», которая превращает его в камень, делает его бесчувственным, и он ничего не может, и в то же время может все. Эта задумчивость не подчиняется его воле, так же, как его окаменение. Однако то, что он называет задумчивостью и окаменением, окружающие считали, оценивая его поступки, порочностью и злонамеренностью. Вот что получилось. Это было его, особое заклятие.

И вот перед нами последнее слово русского писателя перед великим крахом. Каждый, кто способен хоть немного понять состояние души Розанова, состояние, в котором он как будто родился, с его жуткой бесчувственностью и окаменением, тот должен глубоко сопереживать его страданию и стремлению вернуть свое подлинное «я», «я» чувствующее, вырваться из своей задумчивости, разбить камень. Насколько ему это удалось — мы можем судить по его книге, по тому, как он славит красоту плодородия и продолжения жизни, по его неожиданным и саморазоблачающим суждениям о Вейнингере. Розанов современен, страшно современен, и если он не может внушить нам страха Божьего, то он вселяет в нас страх перед судьбой, перед роком, перед цивилизацией, которая не внутри нас зреет, а навязывается извне, средствами «образования» и «просвещения».